

СЕРГЕЙ ЖАДАН

**ТАБАЧНЫЕ
ФАБРИКИ**

перевёл с украинского
Станислав Бельский

Днепр
ГЕРДА | 2020

СЕРГЕЙ ЖАДАН (Старобельск, 1973) – украинский писатель, поэт, переводчик, музыкант, общественный деятель. Автор многочисленных прозаических и поэтических книг, в частности, романов «Депеш Мод» (2004), «Anarchy in the UKR» (2005), «Ворошиловград» (2010), «Месопотамия» (2014), «Интернат» (2017), книг малой прозы «Биг Мак» (2003) и «Гимн демократической молодёжи» (2006), сборников стихотворений «История культуры начала века» (2003), «Цитатник» (2005), «Марадона» (2007), «Эфиопия» (2009), «Огнестрельные и ножевые» (2012), «Жизнь Марии» (2015), «Тамплиеры» (2016), «Антенна» (2018), книги поэтических переводов из Пауля Целана «Давление света» (2014). Член ПЕН-клуба. Лауреат премии имени Джозефа Конрада и премии «Книга года ВВС» в номинации «Лучшая книга десятилетия». Переводы произведений Сергея Жадана выходили отдельными изданиями во многих странах мира.

* * *

*Проходит весна!
Плачут птицы, и у рыб
На глазах – слёзы*

Мацуо Басё

после того
как половодье спало
сквозь ледяные
плоскости воды
мы вслушивались в безъязыкий
плач рыб
проплывавших над нашими
затонувшими кораблями
и видели
как серебряными серёжками
легонько покачиваются
прикреплённые к их глазам
слёзы

* * *

история начинается
на одной из улиц старого центра
знаешь эти постройки за синагогой
санитарные условия и всякое прочее
разбитая мебель кресла занавески дома культуры
вся эта рухлядь которая называлась советским бытом

история начинается примерно с сороковых годов –
послевоенные новостройки
развитие общества "динамо"
и вообще развитие
поверишь ли это всё сохранилось
во всяком случае время ещё не всё разрушило

поэтому если относиться к этой истории
по-настоящему серьёзно
а именно так я надеюсь ты и хочешь к ней относиться
начни прямо оттуда
встань со своей раскладушки
и расскажи тому кто захочет тебя выслушать

я знаю когда только начинается утро
в окне висит архангел
и стучит на портативной трофейной машинке
штольня времени заполняется нефтью любви –
чёрным папоротником шахтёрских лабиринтов

с каждым годом быстрее заканчиваются твои каникулы
какие двигатели нужны для твоей машины?
какие двери ты выберешь?
какая будет сегодня погода?
каким ты выйдешь из моей молитвы, господи?

* * *

Тяжёлым каменным углем в лесных корнях,
железными лезвиями сквозь песок и уголь
монтируется – звено к звену,
срастаясь сердцевинами,
обжигается горячая сердцевина года.

На самом дне, как раз между июнем и июлем,
в тихих городских переулках с их бакалейкой,
увидев, как в темноте замирают липы
и телефонные кабины,
ты пройдёшь сквозь краткое межсезонье, –
оно, заколебавшись на миг, может вынести
в любую сторону;

из этой – самой глубокой – ложбины
всегда две дороги, и, легко раскачавшись,
ты можешь двинуться против течения,
пробиваясь к зиме, к истокам,
когда всё не казалось таким устоявшимся,
когда всё ещё можно было изменить.

Кто-то устилает пахучими водорослями
каналы твоего забвения,
дымом, камнем и водорослями,
и ты до беспамятства
ловишь в себе
эти дымы.

Середина года – река в низине, как раз перед дельтой,
когда чужой, возбуждающий и солёный
запах иной воды поднимается вверх по руслу,
заполняя собою поры чужой влаги;
так и ты – можешь, если захочешь,
ощутить ледяные потоки из своего будущего,
предвидеть, что там – за ближайшими холмами,
заглянуть туда, где исчезает всякая навигация,
и от тишины открываются раны на яблоках,
и где всё ещё ничего не начинается
без твоего присутствия.

Гамбургские шлюхи

Несколько лет спустя,
даже несколько лет спустя,
позабыв все рисунки и знаки, которые казались
важными, ты помнишь эти догадки,
возникавшие тогда так неожиданно и близко,
как музыка по радио –

что зима уже заканчивалась,
и через Дунай перелетали звёзды,
и что каждый раз, когда они оказывались
над развёрнутой картой русла,
сумеречная вода раскрывалась, показывая
им небо, светившееся где-то сверху.

Белый-белый снег на стеблях картошки,
утренние карты автомобильных дорог,
всё рано или поздно заканчивается,
так, будто ничего и не было,

ничто не изменится с твоим отъездом,
и ничто не изменится, если ты останешься,
кроме твоей памяти,
кроме неё вообще ничего не остаётся.

Чужой город, чужие женщины,
по движениям которых можно оценить силу ветра.
голоса, из которых состоит дыхание,
тишина, из которой состоит пустота,

заставленная разными вещами,
заполненная строениями и фигурами,
оплетённая плющом и луком
безграничная безнадежная пустота.

Океаны

Есть чувство, что вдруг появилось много воды,
может быть, оттого, что у каждого снега жесты
и запахи океана,
появляется присутствие большого в твоей жизни;
всё было создано с учётом твоего сердцебиения,
недаром эти волны, непроявленные и неслышанные,
разворачиваются в сторону населения.

Будто не удерживаясь на отведённых
для них территориях, в какое-то мгновение
они забегают всего лишь
на минуту в свидения, как дети вбегают
в родительские спальни.
И даже если их не видно, это ещё
не значит, что их на самом деле не видно.

Та часть жизни,
которую называют жизнью,
никогда бы не вместила в себе
такого количества звуков.
Ты говоришь – тишина, зная, что тишина и есть то,
чего ты не можешь услышать.

Есть подвалы,
и есть крыши,
и где-то между ними спрятан океан;
и всё, что видишь –
мокрые зимние деревья, реки
и трава,
которая в своём мире является чем-то таким,
чем в нашем мире является радость или прощание.

И вот тогда, начиная ближе к рассвету,
они приходят и останавливаются совсем рядом,
будто кто-то проводит ножом возле лица
или пробивает в механической типографии
литеры на развороте,
тёплой кровью по обёрточной бумаге,
и птица за окном перелетает так медленно,
что пока её видно,
я успеваю написать нужные слова
и даже успеваю их вычеркнуть.

Оптовики

Посмотри на небо, сказал я себе наконец,
если и там некому всё наладить,
и падают крепления и бигборды с рекламой
строительных компаний на плоские животы рек,
ну, тогда что уж говорить о нас с тобою, сказал
я себе, ожидание как ожидание, ещё один день
проходит чёрной водой сквозь город.

Дотяну до границы, думал я вчера, затарюсь
бухлом в нон-стопе, буду ехать и мучиться
от всех этих пустынных полей, где нет ничего,
кроме металлических ангаров с краской.

И теперь, когда солнце тихо поднимается над
венгерской кукурузой, я вижу, как пограничники
потрошат старый фиат, тёплое цыганское гнездо,
вынимают, как страшные хмельные факиры,
из его глубин алкоголь и табак, чьи-то
надежды, чей-то бизнес, так всегда – чем внимательней
смотришь на мир, тем больше чьего-то отчаяния
доводится увидеть,

жизнь как жизнь, выезжаешь из страны,
больше не слышать паровозы на сортировочной станции,
заросшей травой и молочаем, почти в самом центре,
и не переходить по ночным мостам, на которых
залегают сиреневые сумерки, любовь как любовь, уже
не перебирать в руках номера телефонов и названия
лекарств, вытягивающих сквозь ещё одну ночь,
огни сортировочной,
тишина как тишина, и не слышать
горького паровозного мяса.

Надо всего лишь вернуться.
Но включённые лампочки
как открытые раны –
некому выключить,
некому закрыть,
и некуда возвращаться.

Пушеры

Иисус думает о тебе, когда ты думаешь о наркотиках.
Весёлый и вечно перепуганный чем-то пушер, который
покупает себе молоко, живёт в нашем квартале, выбегая
каждое утро из ворот поговорить с кем-то по телефону
и долго обнюхивая трубку, в которой так много
вещей спрятано чьими-то бережными руками,

чтобы мы с тобой ничего не знали об этих фарфоровых
масках смерти, о грубых рыбацких куртках, о золотых
напёрстках в карманах уличных святых,

чтобы мы только изредка, во сне, когда вместе спим,
слышали шёпоты бандитских душ, с которыми говорит
по уличному телефону наш с тобою
знакомый пушер.

Я знаю, как это ему удаётся – у него тёплое дыхание,
горячее-горячее дыхание, которое пахнет
подорожником и кофейным автоматом, оно немного
горчит и отдаёт жжёной листвой,

он дышит на мороженую рыбу в холодильниках,
когда заходит в бары у дождливой трассы,
и от его тёплого дыхания мороженая рыба снова
начинает бороться и выпрыгивает в мокрую траву,
вкладывая в раны размокшие листья подорожника.

Кто-то думает о тебе,
когда ты думаешь о своём выживании,
сначала ты работаешь на эту страну,
потом страна начинает на тебя работать;

если бы только ты знал, какие немислимые
вещи творятся вокруг тебя,
если бы только ты мог забыть хотя бы
половину
из того, что знаешь.

Клерки

Где-то обязательно должно быть это место,
в котором сходятся время от времени
все твои солнца, какие-то вещи,
о которых ты помнишь всё время,
ты где-то их уже видел – и эти дома,
и этих арабов в больничных переходах – на игральных
картах, или в порнографических журналах,
где-то всё это обязательно есть, и ждёт
только минуту твоей слабости.

На окраинах, около парка, в старых
дворах и школьных тренировочных залах
что-то время от времени повторяется,
здесь главное ощутить –

прошлого нет, есть просто наиболее
отдалённые участки настоящего,
возвращаться на которые тяжело и опасно.

Глубоко в этих помещениях,
в старых конторах и офисах,
где-то они должны быть – комнаты,
увешанные амулетами, куриными
лапами, жестяными иконками,
где дверные ручки и медные
крепления на оконных рамах
вымазаны голубой глиной и
чёрной птичьей кровью,

где полы расписаны предостережениями
из библии и конституции,
и страх упакован в коробки
из-под бумаги для ксеркса.

Кто знает об этом? Возможно, об
этом знают клерки, какие-то послушные

клерки из порядочных семейств, растерянные мужчины с продавленной психикой, которые носят под чёрными костюмами женское бельё и глиняные пентаграммы, и спят лишь при включённом свете, и видят демонов в опустевших спортзалах.

Приди как-нибудь и полюбуйся на все эти испорченные фонтаны и замкнутые двери комнаты страха;
сны этих мужчин напоминают волокна кукурузы, сладкая тяжесть их памяти – сильной и цепкой, благодаря которой они даже бреются без зеркала, каждое утро воспроизводя движениями пальцев контуры своих лиц, так, будто сами ангелы водят их бритвами, легко и отстранённо, каждое утро, каждое утро, постепенно приближаясь к тёплым артериям.

Собиратели конопли

А когда они окончательно разошлись, от неё стали приходиться странные письма; смотри, писала она, это – собиратели конопли, это они возвращаются в города и приносят на плечах горячие растения, заходят в свои дома, осторожно переступая через черепахи и старых, уже слепых от старости тритонов;

каждое утро сквозь земляные полы их домов
прорастает камыш, из которого пастухи делают
странные духовые инструменты, звучащие в зависимости
от направления ветра;

и, выгоняя с утра стада, они
выпускают вперёд воздушных змеев и,
размахивая бамбуковыми жезлами,
будят оранжевые звёзды;

они говорят –

*вперёд, наши старые боевые черепахи, вперёд, выпутывайтесь из
этой жёсткой травы, ломайте изумрудную листву, за нашими спинами,
за нашими голосами обязательно придут наши дети, они ещё дойдут
до конца бесконечных полей, в которых нам суждено умирать
от лихорадки и старости, так что вперёд, вперёд, на голоса воздушных
змеев, на движения ночных животных, на тени умерших, которые
не могут продраться сквозь нашу густую траву.*

Смотри, писала она ему,
всё, что сбылось и всё, что сбудется,
всё, что тебе мешает и что делает тебя сильнее –
всё это в руках неизвестных тебе чернорабочих,
наша большая реальность, с кофейнями и
кредитными банками, ждёт каждое утро
твоего пробуждения;

всё функционирует только в твоём присутствии,
всё заканчивается только вместе с твоей агонией,
всё это никогда не прекратится,
всё будет продолжаться бесконечно,
без конца и начала,
до самой смерти.

Иерусалим

Иона Якир, вечный студент Харьковского технологического, расстрелянный поздней по обвинению в террористической деятельности, принял революцию и стал на сторону народа после того, как получил откровение: ему явился во сне пророк Иезекииль, с противогазом в поношенном подсумке, и вручил перепуганному со сна Ионе огненный меч, приказав оборонять от носатых британских линкоров изумрудные воды Одессы – южного Иерусалима революции.

Иона, который до этого не разбирался в военном деле, спросил у пророка: ладно, но как же я с этим справлюсь? С чем выйду я против врага, когда он начнёт обстреливать из бортовых орудий пакгаузы и бордели? С чистым сердцем, – ответил ему пророк, – с чистым сердцем и огненным мечом. Ну и можешь ещё нанять китайцев. Вон их сколько шатается по берегу без дела.

И проснувшись, Иона и вправду сформировал батальон китайских интернационалистов и отправился в свой крестовый поход со льюисом на плече и пеплом Господним в сердце.

Можно только гадать, чего было больше в этих его отношениях с китайцами – любви или криминала. Эстетика революции состоит, наверное, в последовательной и яростной вере в свои видения. Иначе есть опасность затеряться в молоке ночных приливов, утратить свои каналы для общения с мучениками.

Отходя потом на север от ворот города, который им надлежало охранять, пробираясь по балкам и болотам, о чём они

на самом деле сожалели? Утративший веру Иона со своими назойливыми голосами – они советовали ему захватывать бронепоезда, подымая за собою мёртвых – кость к кости – и свора китайцев, которые вообще слабо понимали, с кем воюют, не говоря уже – за что.

Можно предположить, что днём они шли за воздушными драконами, которые дышали над ними серой и паровозным углём, что ночью они читали карту звёздного неба, наблюдая, как метеориты падают в море, звонко ударяясь о борта флота союзников.

Наверное, наибольшие разочарования выпадают на долю тех, кто пытается упорядочить окружающую пустоту, дополняя её своей собственной. Проходя сквозь огонь неприятия и отпора, мы опалем волосы, заглядывая в глаза справедливому, вездесущему неверию.

Куда бы ты ни шёл, куда бы ни направлялся, отклоняясь от размеченных для тебя на военных картах маршрутов, сколько бы ты ни пытался переиграть обученных перевозчиков, но мудрость, Иона, лишь в том, что всех нас рано или поздно выбрасывает на берег, где нас давно уже ждут, с радостью и нетерпением, все те, кто будут любить нас до смерти, все те, кто будут эту смерть неумолимо приближать.

* * *

И вот я снова пишу о ней,
рассказываю о балконах
и её домашних разговорах.

Вот я вспоминаю, что она
прятала от меня,
что хранила между страницами
антологий всех этих проклятых поэтов,
которые старательно портили
нашу жизнь.

"Прошлым летом, – говорила она, –
что-то случилось с моим сердцем.
Оно начало дрейфовать, как корабль,
команда которого умерла
от лихорадки.
Двигалось в глубине моего дыхания,
подхватенное течением,
атакованное акулами.

Я ему говорила:
сердце, сердце, никакие паруса и канаты
не помогут тебе.
Созвездия висят слишком высоко,
чтобы можно было найти дорогу.
Сердце, сердце,
слишком много мужчин
нанималось в твои команды,
слишком много сходило в британских портах,
теряя души
в зелёных слезах алкоголя".

Так и я –
вспоминаю её икры, за которые готов
был драться до крови,
и повторяю за ней:

сердце, сердце,
больное лихорадкой,
выздоровливай скорее,
иди на поправку,
ещё так много жгучей любви ждёт нас,
ещё столько прекрасных трагедий
таится от нас в открытом море.
Сердце, сердце,
мне так радостно слышать,
как ты бьёшься,
похожее на лисицу –
пойманную,
но не приручённую.

* * *

Эта лисица
плачет ночью на луну
и обходит мои ловушки,
так, будто ничего не случилось,
так, будто её это не касается.

Когда-то она носила на шее
украшения, от чего их стоимость
только возрастала.
Плед, в который она заворачивалась,
был как подсолнуховое поле,
и по нему ходили птицы,
подбирая поздние зёрна
нежности.

И когда она злилась,
ярость поднималась по её венам,
как влага по стеблю розы.

В любви самое главное –
не верить тому, что говорится.

Она кричала: "Оставь меня в покое",
пытаясь сказать:
"Разорви моё сердце".
Она отказывалась
говорить со мной,
на самом деле отказываясь
выдыхать воздух.

Так, будто хотела сделать
мне ещё хуже, чем есть.

Так, будто главная наша проблема
была в воздухе,
которым мы дышали.

* * *

Лучшее, что было в эту зиму, –
её следы на первом снегу.
Труднее всего было канатоходцам:
как им удержать равновесие
с этими сердцами, что тянут в сторону?
Хорошо бы иметь два сердца,
можно было бы зависать в воздухе,
можно было бы задерживать дыхание,
рассматривая в упор
зелёных медуз снега.

Лучшее, что было в эту зиму, –
деревья с птицами.
Вороны были похожи на телефонные
аппараты, которыми пользуются
бесы радости.
Сидели на деревьях, а деревья зимой
как женщины после развода –
тёплые корни переплетаются
с холодными корнями,
тянутся в темноту,
требуют света.

Хорошо было бы
обучить этих ворон пению
и молитвам, чтобы занять их
хотя бы чем-то в мокрые
мартовские утра.

Лучшее, что могло случиться,
случилось именно с нами.
"Это всё март, – говорила
она разочарованно, – это всё
потому, что март:
вечером долго ищешь
по карманам рекламные листовки,
на утро изумрудная трава
растёт под кроватью,
горько и страстно
пахнет
мячами для гольфа".

* * *

Летом
она ходит по комнатам,
ловит ветер в форточках,
как неумелый рыбак,
который никак не поставит
парус.

Подстерегает сквозняки,
ставит на них ловушки.

Но сквозняки говорят ей:
слишком нежные у тебя движения,
слишком горячая кровь,
с такой выдержкой
что ты можешь поймать
в жизни!

Слишком высоко ты
поднимаешь ладони,
когда ловишь пустоту.
Всё, что вылетело у нас
из рук, — лишь пустота.
И всё, на что
не хватает терпения, —
лишь ветер, летающий
над городом.

Солнце в утреннем небе
похоже на апельсин
в школьном ранце:
единственное, что имеет настоящий вес,
единственное, о чём думаешь,
когда становится особенно
одиноким.

* * *

Если бы я был почтальоном
в её квартале,
если бы я знал, откуда
к ней приходят рекомендованные
письма,
возможно, я лучше
понимал бы жизнь,
знал бы, как она приводится в движение,
кто её наполняет пением,
кто наполняет слезами.

Люди, читающие газеты,
люди с тёплыми
сердцами, добрыми душами
стареют, никого об этом
не извещая.

Если бы я был почтальоном
в этом квартале,
я бы даже после их смерти
поливал цветы
на сухих балконах,
кормил диких котов
на зелёных кухнях.

Чтобы, сбегая по лестнице,
слышать, как она скажет:

почтальон, почтальон,
всё моё счастье
умещается в твоей сумке,
не отдавай его
молочникам и железным вдовам,

почтальон, почтальон,
смерти нет,
и после смерти ничего нет.

Есть надежда,
что всё будет так,
как мы пожелаем,
и уверенность,
что всё было так,
как мы хотели.

Ах, какой у неё
горький, невесомый голос.
Ах, какой у неё
невозможный,
неразборчивый почерк.
Таким почерком хорошо
подписывать смертельные приговоры:
никто ничего не исполнит,
никто ни о чём не догадается.

* * *

Что делать со священниками?

Они выпасают свои церкви, как скот,
пускают их в изумрудную траву, смотрят,
как церкви тяжело укладываются в речной ил,
прячась от июньского солнца.

Ходят за церквями, выгоняя их из чужой
пшеницы, заворачивают домой, туда, где
зажигается огонь вечерних усадеб.

Спят на мешках и книгах,

слушая сонное дыхание животных,
вспоминая во сне лица женщин, приходивших
и рассказывавших о самых тайных грехах,
просивших совета, ожидавших прощения.

Что он может тебе посоветовать?

Вся его жизнь – это выпас луны,
поиск пастбищ, ночёвки под чёрным небом.

Можешь петь вместе с ним, можешь
спать рядом с ним, накрывшись пехотинским плащом,
можешь греть на костре мокрую одежду,
стирать в реке свои рубашки,
которые он готов вывесить в церкви, как плащаницы.

Что делать с атеистами?

Они говорят – на самом деле я верю, верю во всё, что
было сказано, но никогда и ни за что,

ни при каких обстоятельствах,
ни в коем случае в этом не признаюсь, потому что
это моё дело,
и касается оно только меня.

И пусть он сто раз при этом
обижается и угрожает, гневается и отворачивается на
своём распятии,
всё равно – куда он без меня? Что он будет делать один?
Он должен бороться за моё присутствие,
обречён сражаться за моё спасение,

не может не считаться с моими сомнениями, с моей
непоследовательностью, с моей искренностью.

Что делать с тобой? Можешь петь вместе с нами,
стать с нами в круг, положить нам руки на плечи:
мы едины в нашем пении,
едины в нашей любви,
в нашем одиночестве,
в нашем разочаровании.

Так что же делать со всеми нами?
Если бы он не должен был стеречь свою домашнюю церковь,
если бы не должен был идти за ней, выгоняя с жёлтых полей,
у него было бы куда больше времени на наши
невзгоды и наши знамения.

Любовь уничтожает
все наши представления о равновесии.
Можем забываться и отступать в сторону,
можем отказываться от того, что говорили,
можем целовать ночь в чёрные губы –
мы единственные, кого касался ночной огонь,
мы единственные, кто верит,
мы единственные, кто никогда
в этом не признается.

Можешь говорить обо всём, что тебе снится,
можешь говорить, можешь не бояться темноты:

всё равно кто-нибудь тебя услышит,
всё равно никто тебе не поверит.

* * *

Город, в котором она спряталась,
горит знамёнами, лежит под заснеженными перевалами.
Охотники выгоняют дичь из протестантских соборов,
голубые звёзды падают в озеро,
убивая неспешную рыбу.
Ах, эти улицы, над которыми висают канатоходцы,
ах, как они балансируют за школьными
окнами, вызывая восторг,
как уклоняются от озёрных чаек,
выхватывающих у неё из рук
золотые невесомые чипсы.

Там, где мы с ней когда-то жили,
у нас не было времени на покой и созерцание.
Мы бились об острый тростник ночи,
сбрасывали одежду, словно балласт, в чёрную шахту лифта,
чтобы продержаться в воздухе ещё одну ночь,
ненавидели и не прощали,
не принимали и не верили,
гневно проживая лучшие дни
своей жизни.

А вот город, в котором она в конце концов спряталась,
нежно касается её руки
и отворяет перед ней свои склады и хранилища.
Ах, эти порты, куда сходят вывезенные
в трюмах сенегальцы,
чёрное мясо их сердец,
слоновая кость их глаз,
ах, эти подвалы, забытые сыром,
радушные протестантские города,
в которых можно переждать Страшный Суд,
такие тут умелые адвокаты,
такие неприступные стены.

Ведь там, где мы с ней
когда-то грелись на кухнях
возле синих источников огня, после нас не осталось
никаких следов. Время, старый канатоходец,
сто раз падало и сто раз поднималось
с поломанными ключицами и железными зубами,
ему всё равно, в каком направлении двигаться –
залижет раны и снова танцует рядом с чайками.

Но город, в котором она смогла спрятаться –
какие тут яркие платья и рубашки,
какая бархатная кожа у пилотов
и китайских студенток.
Ах, этот свежий горный воздух,
этот вкус крови после
изнурительных поцелуев.

Она ничего не забыла там, откуда уехала.
Ни одного голоса, ни одного проклятия.
Жизнь – весёлое перетягивание каната.
С одной стороны её тянут ангелы.
С другой – адвокаты.
Адвокатов больше.
Но и услуги их стоят дороже.

* * *

Святой Франциск построил этот город для серферов и героев.
Он приводил сюда корабли королевских флотов и останавливал их
в тихих бухтах, над которыми стояли туманы.
Испанцы спрыгивали на берег,
и русские моряки в спасательных шлюпках, и золотоискатели
из Китая прошивали ночь фонарями, дивясь теням на холмах.
И каждая заложенная церковь была как натруженный голос –
свободы хватит всем, если вы не станете удерживать её для себя,
делитесь хлебом и углем на зиму,
смотрите на солнце сквозь бутылочное стекло океана,

золота хватит всем,
но любовь достанется лишь самым смелым!

Тысячи лет нужны для того,
чтобы добыть из земли все богатства,
тысячи ночей нужны, чтобы изучить
привычки местной скумбрии,
тысячи слов нужны тому, кто говорит с вечностью.
Чума сходит в праздничный порт,
и за ней высыпают из церквей подростки и девушки,
дерзкие и золотокожие, с первыми тайнами
и католическими гимнами –
делитесь книгами и яркой одеждой,
делитесь ею, делитесь кофе и овощами,
в этом городе мы все защищены молами,
крепостными стенами,
столько счастья привезено сюда из целого мира,
что нам делать с ним,
что нам делать с ним?

Я знаю, что святой Франциск охраняет её,
когда она появляется здесь на конференциях
или в библиотеках,
охраняет её каждый раз, когда она ходит по магазинам,
считая копейки, на которые должна прожить до отъезда,
охраняет от врагов, охраняет от друзей.
И нервничает, когда я ему подсказываю:
делись с ней своим терпением,
делись усталостью, делись радостью,
в этом городе на кого ей ещё положиться, если не на тебя,
в этой жизни о ком нам с тобой ещё говорить, если не о ней,
кого нам ещё охранять,
кого ревновать,
Франциск?

* * *

Какие грехи у тебя, женщина?
Кто станет считать швы на матовом фоне,
там, где вены медленно впадают в ладонь?
Кому придёт в голову спрашивать дорогу
у тех неизвестных,
чьими голосами ты говоришь во сне?
У кого хватит смелости
стоять рядом с твоим изголовьем
и рассматривать, как под горлом у тебя
извиваются разъярённые змеи?

Какие беды у тебя, какие тайны?
Нельзя ничего спрятать,
нельзя вернуть утраченное.
Так зачем просить прощения у скелетов,
лежащих в саду
под кустами роз?

Но она отвечает: всегда
найдётся кто-нибудь,
кто напомним о каждой нашей потере.
Всегда найдётся кто-нибудь, кто не даст нам покоя,
добывая из нашего тела страх, словно корни.

Уже близко осень. И по церквям
стоит мёд песнопений и голосов.
Всех христиан объединяют
изображения святых на иконах,
похожие на портреты в семейном фотоальбоме, –
близкий и понятный нам с детства свет сопровождает
нас на протяжении жизни,
ближайшие великомученики – те, что
вынимали тебе занозы из детской ладони.

Какие заботы у тебя, женщина? Где твои мужчины?
Преданные и укрощённые, гневные и шальные,

они произносят твоё имя, как название микстуры,
которая не облегчила их страданий.

Луны, которые росли и умирали за твоим окном –
кто-то собирал их и складывал вместе,
словно осенний лук.

Но она возражает: умершие луны
не могут ничему научить,
и погасшие звёзды, как глаза филологов,
напрасно пытаются пробиться
сквозь тьму этого мира.

Ни света, ни пустоты, ни огня на реке,
ни одного имени, которое бы вспомнилось в эту ночь.
Любовь – это умение перебирать камни в ночной воде.
Любовь – это умение видеть, как всё рождается.
Как умирает.
Как рождается снова.

* * *

Женщины, живущие за рекой,
где илистый грунт
и красным кирпичом мощёные улицы,
проснувшись, идут на берег
и ждут, что вода принесёт им этим утром –
выпущенное кем-то из рук бельё,
плывущие по течению корзины с зеленью
и младенцами.

Вода состоит из тайн, и нужно быть
осторожным,
чтобы тебя не затянуло в глубокие колодцы,
туда, где ждут привидения с рыбьими головами,
с нежными хвостами – влюблённые и обманутые.
Если бы существовали мосты,
если бы можно было перебраться на ту сторону,
я бы давно уже был там.

Как можно забыть о тебе,
находя следы твоих ногтей на предплечье,
и как можно вспомнить твоё лицо,
если ты всегда просила выключить свет?

На этих берегах, за цехами и котельными, горят небеса,
и умершие девушки в пёстрых цыганских юбках
стоят в воздухе над крышами, заглядывают в каминны
и поют в них, как в старые ламповые микрофоны.

Женщины, живущие на другом берегу, –
им никто не рассказывает о молодых бродягах,
которые прячутся каждый вечер в разлитом
яблоневои золоте, подсматривая,
как они сбрасывают свои невесомые платья, вытягивают
из волос шпильки и отравленные гребни.

Попавший сюда будет ежедневно
ловить рыбу, забрасывая сети среди тумана,
чтобы сложить к их ногам красные сердца,
вырывая их из рыбин,
словно тюльпаны.

Если бы только можно было попасть на тот берег,
пройти мимо холодной тени электрической станции,
увидеть птиц, которые воруют с подоконников
серёжки и нательные крестики.
Ощутить, как ночью из реки выходит мрак.
Знать, что утром он отступит назад.

Беременность

Она сказала ему об этом
в начале лета,
когда уже сложно было скрывать.
"Когда ждать?" – спросил он.

"Где-то после Нового года" –
ответила она.

*Летний воздух пахнет дождём,
и дни такие длинные, что даже после
захода солнца долгое время
не наступает темнота.*

*С утра рыбаки выходят в море,
и когда возвращаются,
их сети наполнены морскими ежами,
жгучими, как огонь,
медузами.*

*Прикладывая голову к её
животу, он слушает его,
словно раковину, скрывающую
пение дельфинов.*

Вечерами,
после работы,
он сидел рядом с ней и рассказывал
о делах, обо всём, что с ним
случилось за день.

Договорились: если будет
девочка, имя выбирает она,
а если мальчик –
выбирает он.

И Мария перебирала вслух женские имена,
хотя знала, что на самом деле
будет мальчик.
А Иосиф перебирал имена
мужчин
и ещё совсем ничего не знал.

Виолончелист

Тащит виолончелист
свой деревянный инструмент,
останавливается,
переводит дыхание.
Едва держится в воздухе,
едва волочит ноги
по каменной улице.
А вот как кричат ему
прямо в лицо,
вот как гневно сопровождают,
наседают со всех сторон,
сыпят проклятия.

*Сходятся мужчины,
угрюмо стоят женщины,
дети бросают золотые
апельсины
брусчатки.*

Столько злых слов
он и не слышал за всю свою жизнь.
Будто бы он виноват,
что должен тащить этот
чёртов инструмент,
будто виноват, что
не может бросить его
посреди улицы.
Но кому и что ты докажешь,
кому объяснишь?

Воздух разрывают крики,
разламывает лай.
Скоро проступит кровь,
скоро прольются слёзы.

*Хмурятся мужчины,
галдят женщины,
дети запомнят это небо
до конца своих
долгих дней.*

А уже когда выбирают
за город, останавливаются
на холме, он ставит
инструмент на землю,
достаёт смычок,
припадает к лакированному дереву,
висит на нём,
не в силах оторваться,
и движения его так тяжелы,
и на пробитых ладонях
запекается кровь.
Тогда

*плачут мужчины,
вянут женские сердца,
и у детей
в стиснутых кулаках
растут жемчужины
музыкального слуха.*

* * *

Кто стоит на причалах и рейдах, кто провожает солнце?

Это мы, Господи, рыбаки и работники, изнурённые долгим трудом,
выходим из старых верфей,
останавливаемся на побережьях и поём вслед речной воде,
которая навсегда от нас уплывает.

Нам так легко поделить прошлым.
Жизнь – это машина, которую создали для нас,
и мы знаем, что не стоит бояться этой машины.
Золотые цеха раскрывают для нас ворота.
Высокое небо плывёт над нашими школами и магазинами.
И всё, что ждёт нас – забвение и пустота,
Всё, что ждёт нас – любовь и спасение.

Табачные фабрики

Сейчас попробую
высказать это своими словами.

Так, чтобы не говорить о нём,
так, чтобы не говорить о ней.
Так, чтобы говорить о главном.

Главное заключается в том, что никто не может
устоять перед искушением
быть безнадёжно влюблённым,
безнадёжно и несчастливо,
никто не может отказать себе в удовольствии
быть отлучённым от любви,
словно от церкви, в которой нас всех в своё время
крестили.

Чтобы продолжать
не говорить о нём,
не говорить о ней,
я буду говорить о том, что
считается несущественным,
таким, от чего можно отказаться.

Мы можем отказаться
от умения плакать,
когда нас переполняет радость,

можем отказаться
от стремления жить, когда нас переполняет смерть,
мы можем от этого отказаться,

но
до тех пор,
пока мы не отказались,

мужчины так влюбляются,
как киты выпрыгивают на берег –
без малейшего шанса на возвращение.

А женщины продолжают работать
на табачных фабриках,
и платья их не отстирываются
от табака.

И своими словами об этом
можно сказать, очевидно, так:

пусть работают фабрики,
пусть крошится табак,
пусть забивается в карманы, складки одежды,
я знаю, что никто ни от чего не откажется,
я знаю, что никто не откажется от главного –
выброситься на берег,
выброситься на берег,
выброситься и не жалеть.

* * *

Как пишутся стихи?
Этот август такой горячий, он похож
на камень, вытянутый из очага.
Сколько тебе остывать, камень,
сколько гореть твоему августовскому сердцу?
Воздух в эти дни вязок и неподвижен.

На ступеньках в подъезде убийственные лучи,
как на иконах, в той сцене,
где Иисус начинает сомневаться.
И никто не пишет стихи.
Смотрите, говорят поэты, смотрите – литература
бессильна перед светом и неподвижностью,
ни у кого нет сил говорить,
когда так запекает гортань.

Она подходит к своему дому затемно,
проходит в тёмный подъезд, поднимается
на первую ступеньку.
Сдвинутый её ступнёй,
воздух наполняется жаждой, словно волна,
выкатывается уже по ту сторону ночи,
темнота рвётся в сторону невидимого берега,
размеренно и упорно забивает вдыхаемый воздух,
ломает твоё дыхание,
ритмизует молчание.

Ритм августовского моря,
силлабо-тоника медуз, выброшенных умирать,
дышишь йодом,
выдыхаешь поэзию,
лишь бы не задохнуться от обиды и счастья.

* * *

Тут между ними начинается ссора.
Ну как ссора – он хочет, чтобы всё было, как раньше,
а вот она хочет, чтобы всё закончилось –
раз и навсегда.
Чтобы всё закончилось,
чтобы ничего не было.
Чтобы просыпаться лишь оттого,
что солнце стоит за окном и отказывается
двигаться дальше, пока она не проснётся.

Чтобы каждый вечер от реки возвращались
дети с белым песком в волосах.
Чтобы ночью было слышно дыхание
всех мужчин, засыпающих
на печальных подушках.

А он просит её успокоиться,
он не понимает, что она говорит,
чего она хочет.

Месяц становится круглее от ночи к ночи.
Впереди ещё столько дымов и лучей.
Впереди все искушения жизни.
Тревожная речная прохлада.
Второй месяц беременности.

* * *

Ну вот – теперь не говорят,
не общаются.
И живут, словно в речной воде –
тяжело, но двигаешься,
тяжело, но всё равно дышишь.
Рыбы похожи на телефонные трубки –
прикладываешь к уху, но ничего не слышно,
на такой глубине
совсем нет связи.

* * *

И после двух лет молчания,
после того, как они старательно избегали
друг друга,
не поздравляли друг друга с праздниками,
прекратили общаться
с общими друзьями,

теперь случайно встречаются
на улице
и даже успевают по инерции
радостно поздороваться.

Что было два года назад?
Серый воздух, наполненный криком.
Чемодан, наполненный её рваной одеждой.
С миром надо разговаривать, – говорит
она, уходя от него навсегда. –
С ним можно понять друг друга.
Стоит искать нужные слова.
Стоит не бояться говорить его языком.
А он не знает, что ей ответить.
У него нет слов.
Он не знает, что ей сказать.

Стоят,
молчат,
никто не хочет первым прощаться,
каждому хочется казаться сильней,
чем есть на самом деле.

У него морщинки вокруг глаз
стали ещё глубже, –
отмечает она, – от недосыпания и печали,
и пальцы стали ещё желтей
от табака,
и одежда, та же самая одежда,
что и два года назад – думает
она с завистью.

У ней яркие кроссовки, – отмечает он –
и волосы она покрасила в огненный цвет,
обжечься можно,
и губы, какие у ней губы, – думает он, –
горячие, обветренные:

наверное, долго и счастливо целуется с кем-то
на этом ветру,
хотя, скорее всего, продолжает целыми днями
стоять на улице, под дождём,
раздавая
никому не нужные
листочки
с рекламой курсов английского.

* * *

Каждое утро,
уже два года,
читать её записи в сети,

думать:
она помнит обо мне,
она продолжает со мной говорить,
продолжает обо мне писать,

и когда пишет о соседях – пишет обо мне,
и когда пишет о новой одежде – тоже пишет обо мне,
а главное – когда пишет о погоде.

Сколько в ней обиды и гнева,
когда она вспоминает
про циклон.

* * *

Долго стоят на железнодорожной платформе.
Не знают – разбежаться им или дальше стоять,
не знают, о чём говорить,
что делать с руками.
Небо – чёрное и неподвижное.
Не остаётся ничего от дыханий и слов.

Не остаётся ничего от прикосновения к тёплой ткани.
Сердце перекачивает малиновую кровь,
словно речное русло,

прогоняет через себя всю воду мира.

И пока всё это не исчезло,
пока не исчезло чёрное небо,
пока есть возможность хоть чем-нибудь поделиться –
остаётся целоваться на этой платформе,
вместе с десятками точно таких же изгнанников,
вместе с десятками тех, кто хочет
хоть чем-нибудь поделиться,
хоть что-нибудь после себя оставить.

Страна с плохими новостями,
словно с больными лёгкими –
окрепнешь только сама,
вылечишься только своими силами.
Целуйся с теми, кто ни во что не верит,
целуйся с теми, кто утратил мужество.
Дари им остатки сладкого кислорода.
Дари воздух
тем,
кто задыхается.

* * *

А вот ещё один стих,
чтобы доказать ей, что земля
плоская, что она может исчезнуть,
что ею вертят дьяволы музыки,
что на её поверхности танцуют святые,
сходя с небес на сельские свадьбы.

Вот ещё несколько слов,
которые должны изменить её отношение
к природе божественного,
должны убедить её в том,

что все эти
рождественские распродажи
закончатся страшным судом,
и что мёртвые встанут и будут искать
себе место среди живых.

Теперь она не сможет не поверить,
теперь она не сможет делать вид,
что ничего не знает,
теперь всё наверняка изменится
после этого стиха,
после ещё одного стиха.

Чем можно взламывать замки к сердцам?
Только словами, поставленными
с ног на голову.

Чем можно заморозить чужую любовь?
Только стихами, написанными
на страницах библии,
поверх детальных описаний
апокалипсиса.

Но начинается ещё одна зима.
Но обрывается ещё один разговор.
Прекрасный мир замирает в ожидании чудес.
Никого ни в чём нельзя убедить.
Никто не верит в страшный суд.
И в поэзию тоже никто не верит.
Тем хуже для вас.
Тем хуже.

* * *

С утра на остановке почти никого,
лишь двое ожидают трамвай.
Мужчина в засаленном комбинезоне,
похоже, строитель,
возвращается с ночной смены.

Женщина в тёмном платье,
усталая, с остатками туши под глазами.
Похоже, целую ночь не спала.

Мужчина держит в руках
пакет из аптеки.
Женщина держит букет роз.

Женщина замечает у него на правой руке
свежую гипсовую повязку.
Он замечает, что в букете у ней
шесть роз.

Пересчитывает.
Правда шесть.

* * *

Горячий летний воздух,
запылёное солнце,
когда пчёлы собирают мёд прямо
из детского дыхания.

Пассажиры под вечер
спешат на вокзал,
спешат на свой ночной,
несутся по улицам
с чемоданами на спинах,
смотрят на часы,
перекликаются,
нервничают.

А впереди всех бежит Иисус,
с крестом на спине,
спешит,
прихрамывает,
подгоняет отставших.

Тёплый летний вечер,
свет в чашках с молоком,
сладкое дыхание травы на трамвайных остановках.

Быстро добегают до конца,
быстро распинают Иисуса,
быстро оставляют спать сонную стражу.
Прощаются,
загружаются,
пропуская вперёд женщин и детей.

Ночью укладываются на полках.
Натягивают на тела белые саваны простыней.
Слушают пение цикад в тамбурах.
Ходит проводник, удивляется:
как можно было собрать
настолько разных людей
в одном вагоне.

* * *

Начинается лето.
Ещё ненастоящее, ещё условное.
Но все радуются и такому.

И даже ученики музыкальной школы
радуются возможности побыть
какой-то час в тишине, без болезненных
уроков классической музыки.

Всё только настаивается, приобретает
свой настоящий вид.
Великое летнее равновесие
подготавливается на площади,
словно сцена.

И думает, что смирение оправдывает всё.
Думает, что тихим словом можно вылечить
церебральный паралич.
Поэтому молча подставляет сердце
под блестящий снег –
такой совершенный и такой смертельный.

Дело в том, что на самом деле он ошибается.
Подлость ничем нельзя оправдать.
И тихим словом разве что спровоцируешь конвоира.
И самые храбрые из этих школьников
обязательно станут
поэтами и пророками.

* * *

Ясно, что футбол должен быть вне политики.
Ясно, что принципы честной игры важней,
чем суета политиканов.
Мяч кругл, как наша вечная планета.
Мудрое человечество иронически слушает
очередные обвинения
в свой адрес.

Ясно, что поэзия не должна
быть причастна к общему безумию.
Ясно, что литературе желательно
не скатываться до газетных новостей.
Перемену направления воздушных потоков
не поместишь на агитационном плакате.
Мир немного сложнее
списков контуженных и убитых.

Займитесь своими делами,
поэты – разбивайте сердца наивных читателей.

*металлом так податливо полотно женской
кожи, так прочен светлый брезент
кожи мужской. Протыкаешь чью-нибудь
оболочку, выпускаешь из тела бархатные
капли крови, бьёшь, бьёшь, выбиваешь
крылья ангела на покорной поверхности мира.
Бьёшь, бьёшь, татуировщик, ведь мы призваны
наполнять этот мир смыслом, наполнять его
красками. Бьёшь, татуировщик, эту
обшивку, под которой болезни и души –
то, чем мы живём, ради чего умираем.*

Кто-то рассказал, что его подстрелили на блокпосту,
рано утром, с оружием в руках, как-то случайно –
никто ничего не успел понять.
Похоронили в общей могиле – их всех так хоронили.
Личные вещи передали родителям.
Статус так никто и не поменял.

Придёт время – и какая-нибудь сволочь
обязательно напишет об этом героические стихи.
Придёт время – и какая-нибудь сволочь
скажет, что об этом вообще не надо писать.

Поисковик

Долго её искал. Номер она изменила,
из города уехала, социальными сетями
не пользовалась. Через знакомых найти
не удалось, через церковь тоже.
А потом сама написала: о делах,
о переезде, о новой обстановке, о привыкании.

Рассказала о брате, думаю, ради этого и писала –
чтобы рассказать о брате, о его смерти.
Наверное, обращалась с этим не только ко мне,
во всяком случае –

не ко мне первому. Как-то слишком спокойно рассказывала. Их накрыли, писала, всех вместе, одним залпом. Потом наши вернулись, хотели забрать погибших. Вернее – то, что от них осталось. Сложнее всего было с ногами. У каждого должно быть по две ноги. Так их и складывали – чтобы у каждого было по две ноги, желательно – одного размера.

Брат занимался музыкой. Купил хорошую гитару. У него её всё время одалживали.

Что же с ней теперь делать? – спрашивала она. – Я взяла, пробовала играть, порезала пальцы

с непривычки.

Очень болело. До сих пор не заживает.

Секта

Андрей и Павел, адвентисты, студенты. Папа-предприниматель поддерживал общину, они привыкли считать церковь частью своей жизни: бывали там ежедневно, помогали делать ремонт, выкладывали фото в сети, благодарили за поддержку.

Их и в мирные времена считали сектантами, а когда всё это началось – просто организовали на них охоту. Кто-то выехал, кто-то спрятался. А их обоих схватили. Держали в подвале, заставляли хоронить погибших, копать могилы. Они хотели откупиться, боялись, плакали. Их перевели в другую яму. Просто забыли о них, будто они не существовали. Сидели в чёрном подвале, слушали темноту, сначала молились, потом бросили – стыдились друг друга.

*Веру и теряешь тогда, когда выпадает
возможность за неё умереть, а ты этой
возможностью не успеваешь воспользоваться.
Зачем вера тому, кто видел,*

как всё выглядит на самом деле?

*Зачем верить в то, что не имеет для тебя
никакого значения?*

*Никто не говорит, что было со святыми, у которых
на теле раскрывались стигматы. Что было с этими
стигматами? Они сами собой закрывались,
словно розы под вечер? Или долго кровоточили,
гноились, болели под бинтами?*

*Мужчины со слепыми от мрака глазами
приходили в госпиталь на перевязку,
сжимали зубы, когда сестра отрывала им
от раны засохшие бинты, и свежая кровь
проступала на тёмной коже. Просили
обезболивающее, хотя бы какое-нибудь.
Но нет никакого обезболивающего
от того, что у них болит, просто нет.*

Чеченка

Юра,
уже за сорок,
историк по образованию,
социальный работник.
Сидит в сетях,
отслеживает рваный шаг истории.
Пишет блог от имени чеченки,
выдумал себе такую снайпершу,
живёт теперь её жизнью.

Пишет о её вере,
пишет о её сомнениях,
пишет о её чуткости,
делает зарубки на её примере:

это вот – враг-отец,
это вот – враг-сын,
это – дух святой, тоже враг,
его тоже стоит упомянуть
в общем расстрельном списке,
по которому заказывает молитвы
невидимая снайперша.

Мир – почтовый мешок,
защитый колючей проволокой.
Прорвёшь – полезут из
детских рубашек и полотенец
чёрные жабы и ужи.

Нам не узнать,
кто стоял в распалённых толпах,
готовых рвать нежную ткань
чужого тела.
Нам не узнать,
кого в этих толпах не было.

*Вести тебя
по ночным дорогам
между травой и углём,
делать неслышными
твои шаги в лёгких
профессиональных кроссовках,
выводить к источникам
в обход натоптанных
коровьих стёжек,
оставлять для тебя на утро хлеб,
завёрнутый во вражеское
знамя.*

Утром он
перечитывает написанное.
Иногда что-нибудь добавляет.
Иногда правит.

Бреется, режет кожу
старыми станками.

Но крови нет.
Совсем нет.
И смерти тоже нет.

Псих

Жалко город, – говорит он. – Уничтожат его.
Как Содом и Гоморру, – добавляет.

Его брат лежит в интернате для психически больных.
Несколько дней назад интернат захватили.
Во дворе поставили миномёты.

Он навещает брата. Сидят на лавочке, под яблоневыми
ветками. Внешне похожи – оба в спортивных костюмах,
оба коротко стрижены. Только у одного в руках
мобильный телефон. Хотя в городе всё равно нет связи.

Автоматчики не обращают на них внимания.
Они тоже на них не обращают.

В детстве он брата стыдился, никогда не говорил
о нём, никогда не брал его с собой. Знаешь,
как это – когда в семье псих? Папа нормальный,
мама нормальная, ты тоже нормальный, но есть
один псих. Настоящий псих. Псих. В твоей семье.
А значит, на тебя тоже падает подозрение.

Когда подросток, просто перестал обращать
на брата внимание.
Будто его и не было. Так бывает, когда идёшь по улице
и замечаешь боковым зрением что-то неприятное,
что-то такое, что вызывает страх и отвращение:
к примеру,

разорванное животное, но знаешь:
если туда не смотреть, то будто ничего и нет,
будто бы всё нормально.

Вот и теперь так: сидят вместе, молчат,
никто на них не обращает внимания. Будто их
нет. Разве мало их здесь осталось –
тех, кто так и не выбрался,
тех, кто лежит на обочине,
как разорванное животное.

Руководство интерната давно разбежалось.
За больными присматривают несколько уборщиц.
Старые женщины, которые проработали
здесь всю свою жизнь. Шестеро или семеро.
Не так уж и мало для города-миллионника.

Мародёр

Плохая биография,
из таких биографий делают утренние новости.
Отец его замёрз в декабре, в пустом трамвае.
У мамы проблемы с сахаром.
Незаконченное техническое, два года на учёте,
сожжённое йодом горло,
разорванное арматурой ухо.

О чём ты мечтал все эти годы?
Чего хотел?

Всё, чего хотел он, лежало
в ближайшем торговом центре.
Взломать его было, будто сломать
печати на папских грамотах.

"Никогда у меня, – писал он, – не было такого
количества денег, чтобы купить

всё, что мне хочется. Всегда что-то откладывал на лучшие времена. Только теперь понял, что лучших времён не будет.

Ты тоже родился здесь.
Ты знаешь, как оно всё.
Скажи следом за мной:
жизнь – жестока и несправедлива,
жизнь – безнадёжна и коротка,
жизнь – безрадостна и подла.
Тот, кто ничего не имеет,
ничего и не будет иметь,
тот, кому нечего терять,
ничего не потеряет".

*Здесь давно никто не ждёт лучших времён.
Тихую молчаливую смерть здесь никто не отличает
от других женщин.*

*Здоровое сердце, больные лёгкие –
живёшь с ней, потому что любишь,
умираешь потому, что живёшь с ней.*

"Спасибо, что пишешь, – благодарит он, – спасибо, что пишешь".

"Не за что", – отвечаю я.

Правда ведь – не за что.

Плейер

Саша, тихий пьяница, эзотерик, поэт.
Целое лето просидел в городе.
Когда начались обстрелы – удивился,
стал смотреть новости, потом бросил.
Ходит по городу, не выключая плейер,
слушает разных динозавров,
натывается на сожжённые машины,
на разорванные тела.

Нам остаётся от целой истории,
от мира, в котором жили,
слова и музыка нескольких гениальных
людей – они тщетно пытались нас
всех предостеречь, пытались что-то пояснить,
но ничего не пояснили, никого не спасли,
лежат на кладбищах,
из их гениальных грудных клеток
растут цветы и трава.
Больше ничего не останется –
только музыка, только пение, только голос,
который заставляет любить.

Можно никогда не прерывать эту музыку.
Слушать космос, зажмурив глаза.
Думать о китах в ночном океане.
Больше ничего не слышать.
Больше ничего не видеть.
Больше ничего не чувствовать.
Кроме запаха, конечно.
Кроме трупного запаха.

Капеллан

Игорь, капеллан, тридцать лет,
но не бреется, чтобы выглядеть старше.
Все хотят выглядеть взрослыми, серьёзными.
Тем более в тридцать.
Возраст, в котором можно себя потерять.
Опасный возраст. Даже для капеллана.

Странно исповедовать мужчин,
которые так упорно и последовательно нарушают все
господни заповеди. Обжигают кожу о раскалённый
металл, обжигают губы табаком, курят
на ветру, оглушённые, разгневанные.

Окурки летят в мокрую траву –
крестики, иконки, масло под ногтями,
выключают мобильники,
идут на исповедь.

Рассказывают ему свои секреты, делятся бедами.
Он бы уже и не слушал всего этого,

но что может поделать.

Каждый грех – словно камень с морского побережья.
Разгневанные мужчины кладут ему эти камни в ладонь –
каждый свой тёплый камень, долго ношенный в кармане.
У него уже полные сумки этих камней,
он уже еле тащит их за собою.
А они всё приходят и приходят,
приносят свои камни,
передают ему,
словно что-то самое главное.

Постоянно, уже столько дней.
Докуривают, шутят, становятся в очередь,
боятся не успеть.

Все успеют.
Никто не опоздает.

Шпион

Володя, 25 лет,
врач, психолог,
ведёт видеоблог, учит правильно
относиться к жизни,
получать радость от каждодневных вещей,
поясняет простые слова,
просеивает негативную энергию,
словно тяжёлый речной песок.

Два месяца назад он попал в плен.
Нашли камеру, обвинили в шпионаже.

Никаких шансов выйти, будет сидеть
до Страшного Суда.

Лежит в бетонном мешке, на матрасе,
накрытый одеялом, одетый в чужой свитер
со следами крови, лежит рядом с кем-то
тёмным-тёмным, боится даже посмотреть
в его сторону, лежит, а тёмный его доканывает:

Каждодневные вещи, шпион, –
нательное бельё, вчерашний хлеб.
Господень замысел, шпион, –
колючее одеяло, пропахшее дождями.
Прячься под ним, шпионь, всматривайся, вынюхивай.
Подсматривай за родиной,
попробуй увидеть что-то такое,
что она от тебя упорно скрывает,
чем никогда не делится, подглядывай в светлую щёлку,
за которой вершится правосудие.

Святое семейство прячется
за дверями выстуженного жилья.
Проём разбитых дверей заткнут колючим одеялом.
Насколько хватит нашего умения
понимать простые слова, не укорять никого
за отсутствие тепла, за растревоженный свет?

Придёт время – сами позовут, и тебя, шпион,
и всех нас позовут, с вещами, с одеялами,
с остатками боли.
Пойдём в синие снега,
пойдём в красную ночь,
будем идти на свет из небесной щёлки,
будем спешить на Страшный Суд.
Судите нас, судите, судьи, лишайте надежды,
судите нас, судите, судьи, посылайте
на исправительные работы.

Исправленные, напуганные,
говорим простые слова,
хватает сухими губами горячий снег,
хватает последний снег,
золотой.

Носорог

Полгода она держится.
Полгода рассматривает смерть,
как носорога в зоопарке;
тёмные складки,
тяжёлое дыхание.
Боится, но не отводит взгляд,
не зажмуривает глаза.

Страшно, очень страшно.
Так и должно быть.
Смерть страшна, она пугает.
Страшно дышать смрадом красной луны,
страшно смотреть, как творится история.

Полгода назад всё было совсем иначе.
Полгода назад все были другими.
Никого не пугали звёзды,
падавшие в водохранилища.
Никого не настораживал дым,
поднимавшийся из разломов чёрного грунта.

Посреди ночной улицы,
среди шума и огней,
среди смерти и любви
она зарывается лицом ему в плечо,
бьёт его отчаянно кулаками,
плачет, вскрикивает в темноте.
Я не хочу, говорит, всего этого видеть,
я не могу всё это в себе носить.

Зачем мне столько смерти?
Куда мне её девать?

А куда девать смерть?
Носить её за спину,
как цыганское дитя:
никто не любит его,
и оно никого не любит.
Любви так мало,
любовь так беззащитна.

Плачь и разбивай темноту своими тёплыми руками.
Плачь и не отходи от него ни на шаг.
Мир никогда не будет таким, как прежде.
Мы ни за что не позволим ему
остаться таким, как прежде.

Всё меньше освещённых окон на холодной улице.
Всё меньше беззаботных прохожих
около витрин магазинов.
В адской осенней тьме остывают поля и реки.
Угасают костры под дождём.
Замерзают города среди ночи.

Из цикла «ТРИ ГОДА МЫ ГОВОРим О ВОЙНЕ»

+

Знакомый ушёл добровольцем.
Вернулся через полгода.
Где был – неизвестно.
Чего боится – не говорит.
Но чего-то боится.
Может даже показаться,
что боится всего.

Ушёл нормальным человеком.
Правда, говорил слишком много.
Обо всём на свете.
Обо всём, что попадалось на глаза.

А вот вернулся
совсем другим, словно
кто-то отобрал у него прежний язык,
а другого взамен не дал.

Вот он сидит целыми днями на кровати,
слушает бесов в своей голове.

Первый бес лютый,
сыплет жаром, требует
кары для всех живых.
Второй бес покорный,
говорит о прощении,
слова произносит тихо,
касается сердца руками,
вымазанными чернозёмом.

Но худший из всех – третий бес.
Он с ними обоими соглашается.
Соглашается, не спорит.

Именно после его голоса
и начинается головная боль.

+++

Вот такая у них теперь семья
Вот такие семейные разговоры.
Договорились не ссориться,
чтобы как-то пересидеть этот август
под обстрелами.

Поэтому
о политике не говорят,
чтобы не ссориться,
о церкви не говорят,
чтобы не ссориться,
и о боге не говорят,
чтобы не ссориться.

Не говорят о родственниках,
которые выехали.
Не говорят о друзьях,
которые остались.
Не говорят о пацане из дома напротив,
который воюет.

Вспоминают соседа.
Соседа можно.
Сосед умер.
Соседа жалко.

Правда, бог тоже умер.
Но его почему-то не жалко.
Совсем не жалко.

++++

Два года, пока его не было,
она колебалась.
Менять замки?
Не менять?
Вернётся он?
Не вернётся?

Замки, в конце концов, не поменяла.
Видимо, бессознательно ждала,
что всё-таки он вернётся.
Вернётся – вот тогда она ему всё и скажет.

И о своём к нему отношении,
и о своём отношении к этому всему –
обязательно скажет.
И о прерванной беременности.
О которой он эти два года ничего не знал.

А когда он вернулся
(без ключей, между прочим: где-то их потерял),
не стала ничего говорить.
И он не стал.
Вообще условились поменьше говорить.
Особенно о политике.
В нашей ситуации говорить о политике –
то же, что говорить в тубдиспансере о смерти:
кому-то из присутствующих обязательно не понравится.

А тут о чём ни скажи – всё политика.
Хлеб в доме – политика.
Школа на углу – тоже политика.
Ранняя весна, затягивающая небо сладким дымом, –
и это тоже политика.
Политика в жестах, политика в дыхании,
политика в голосовых связках,
требующих покоя.

Поссорились на третий день:
не поделили душ.

Утром он снова собирает вещи.
Она смотрит на небо, как на молоко,
которое вот-вот закипит.
Поздно учить нас утешению и радости, – думает.
Поздно чинить шлюзы,
сквозь которые вытекло столько воды.

Жизнь похожа на дом, в котором нашли повешенного.

Поздно подбирать нужные слова.
Поздно врезать замки.

+++++

Солнце, терраса, много зелени.
Парень и девушка,
похоже, студенты, сидят за столом,
ожидают, похоже, заказ.
Рядом, на столе, конспекты,
папки с документами,
похоже, просто забежали между занятиями.
пообедают – и побегут дальше.
Такие взрослые, такие серьёзные.

Что ещё?

Похоже, снимают квартиру,
не любят готовить,
питаются где придётся.

Жаль тратить время на кухню.
Жаль тратить время на мелочи.
Надо относиться к жизни, словно к одежде,
которую ты примерял, прежде чем купить.
Надо учиться не тратить жизнь
на ерунду.

Когда-нибудь у неё обязательно будет свой дом.
Когда-нибудь он обязательно
найдёт нормальную работу.

Надо будет всему научиться,
надо будет научиться подбирать
те единственные слова, чтобы говорить
о любви и человечности.
Пыль, цветы, много зелени.
Весна прошлого года.

Это единственное фото, где мы вместе – говорит она –
я здесь на него обижена,
видишь, даже смотрю в другую сторону,
не разговариваю с ним.

Потом началась война.
Он ушёл.
Ну и всё.

+++++

По улице проходит женщина.
Останавливается напротив магазина.
Колелется.
Нужно купить хлеб, дома заканчивается.
Думает: купить сейчас или лучше уже завтра?
Достаёт телефон, слушает гудки.
Говорит с мамой.
Говорит резко, не слушает,
сбивается на крик.
Кричит, стоя
перед витриной магазина.
Так, словно кричит на своё отражение.
Обрывает разговор, не дослушав,
идёт по улице, проклиная
невидимую, и от этого ещё более
ненавистную
маму.

Плачет от обиды на неё
и от невозможности её простить.
Забывает о хлебе.
Забывает обо всём на свете.

Утром начинается
первый артиллерийский обстрел.

++++++

Тоже странная история.
История о наших иллюзиях
и нашем бессилии.

В своей библиотеке она всегда
держалась у полок с книгами
любимых авторов.
Стояла у полок,
как женщины стоят перед утренним зеркалом:
доверяя, но всё равно колеблясь.

Поэты с точными рифмами
не могут ошибаться.
Они всегда подскажут выход.
Они всегда помогут в беде.

Один из первых снарядов
попал в библиотеку.
Учебники летали по улице,
как разодранные подушки,
и буквы висели в июньском воздухе
пеплом выжженных синагог.

Поэзия так и не спасла.
Поэты промолчали.
Никто не подобрал точной рифмы
к имени разорванной школьницы,
прибывшей с утра
отдать прочитанные книги.

Когда зашли войска,
когда отремонтировали убежище,
когда ей стали привозить новые книги,
будто хотели наполнить её
новым языком,
то есть новой радостью,

она ещё стояла и что-то говорила,
пыталась быть понятной,
пыталась казаться убедительной.

Кто тогда её слушал?
Кому нужны были её слова?
Безнадёжно прикрываться великой
мёртвой литературой,
стоя перед людьми,
идущими на смерть.
Безнадёжно,
нечестно.

Главное, что я не предала своих поэтов, –
думала она, – я точно их не предала.

Думала, но вслух не говорила.
Боялась.
Благодарила.
Стояла возле полки
с мёртвыми поэтами,
словно у батареи отопления,
которая давно никого не греет.

+++++++

На деревенской улице
перебитый газопровод.
Место аварии, место опасности.

Аварийная служба не выезжает –
никто не хочет ехать под обстрелы.
Когда им звонишь – молчат,
ничего не говорят,
будто тебя не понимают.

В магазине, рядом с позавчерашним хлебом,
продают похоронные венки.
На улице почти никого –
все уехали.

Очереди нет.
Ни за хлебом,
ни за венками.

+++++

Зато я знаю теперь, – говорит он, –
какая она, война.

Ну и какая? – спрашиваю его.

Никакая, – отвечает он.

Говорит со знанием дела:
после плена о большинстве
вещей говорит со знанием дела.
То есть, с ненавистью.

Говорит так, что лучше совсем не отвечать:
всё равно не согласится.
Будет стоять на своём,
считая это высшим достоинством
военных времён – стоять на своём,
отрицать солнце, отрицать
движение океана.

Так и есть:
война – никакая,
так о ней и говорят –
без прилагательных.

Как ты себя чувствовал?
Никак.

И они стоят возле сожжённых домов, возле чёрных стен,
не в силах оставить тела своих погибших,
не в силах признать, что да – всё завершилось,
окончена война, надо грузиться на корабли,
время собирать вещи.

Волны ровно докатываются до берегов.
Ждите попутного ветра, герои,
прощайтесь с погибшими.
Наступает конец времён, приходит конец истории.
Ласточки скрепляют глиной разломанное время.

Но нет отдыха летним приливам.
Завершается одна история, начинается другая.
Они стоят и ощущают дыхание времени,
между смертью и жизнью,
между войной и возвращением,
между Илиадой и Одиссеей.

* * *

И целая вечность впереди.
И время говорить о важных вещах.
Из разрывов воздушной ткани бьют солнечные лучи.
Он возвращается, наконец, домой.
Сколько же его не было? – спрашивает она.
Нет времени перечитывать написанное кем-то давно.
Нет времени для сомнений и сдержанности.
Время возникает из сбитого дыхания,
из жаркого выговаривания, из прикосновения к голым
лопаткам, время состоит из удивления и радости.

Он говорит ей о важных вещах,
о вещах, которые делают крепкими её лопатки,
делают звонкими её колени.

лечи нас этой осенью, речь,
лечи нас от неумения понять друг друга,
у всех нас есть шанс в эту пору спастись,
у всех нас есть шанс на этот раз выбраться.

Так и запомнить площади с брошенными деревьями:
почтовое отделение утреннего неба,
уличные псы, похожие на подсолнухи, –
поворачивают головы в сторону осеннего солнца,
не отводят глаз от его
совершенства.

Закрывать отворённые двери,
откладывая недочитанные книги,
тебя исцелит только речь,
только речь с её сложными объяснениями в любви.
Будешь теперь разбираться в иное,
сможешь отделять свет от сумерек,
женщина, похожая на дерево,
женщина, похожая на стих.

* * *

Глубокий мир деревьев и радости,
мир золотого сечения протоптанных детьми тропинок,
мир тревоги, вырастающей из спокойствия,
с трудом входит в зиму, словно заступ в мартовскую землю.

Кто теперь будет думать о замёрзших ручьях?
Кто будет заботиться о беспризорных,
похожих на диких гусей на берегу:
остались тут, зазимовали,
и лёгкие их распадаются, как сухая виноградная лства.

Дни настали такие, что не успеваешь следить за календарём.
Краткое перетекание света из темноты в темноту.
Краткое забытьё птиц в зимнем небе.
Музыка не умещается на коротких волнах.

Но хватит роптать, – говорят друг другу
дикие гуси на зимних берегах, – давайте держаться вместе,
согреваться нашей гусиной верой.
Мир ещё оставляет после себя привкус липы и радости.
И зимние дни без снега,
словно стихи без рифм –
лишены блеска, лишены лёгкости,
зато не лишены смысла.

* * *

Пишу, как обещал.
Всё хорошо, пишу.
Свет высокий стоит над городом,
куда я сегодня приехал.
И как же он касается тёплых спросонья сосен.
Словно женской кожи,
словно грустных женских плечей
в четвёртом часу утра.

Всё так невыразимо хорошо, пишу.
Зимнее небо
ожидает за городом,
прячет от ветра нежную
открытую шею.

Мир похож
на зрелую женщину,
печальную из-за ранних сумерек,
печальную и встревоженную,

и чтобы успокоить её,
чтобы избавить её
от этой тревоги,
хочется ссориться с Господом,
Господи, кричать, давай сделаем так,
чтобы этой женщине наконец стало легче,

чтобы стало легко озёрам в этой долине,
чтобы легко стало соснам на
том берегу.
Ты же этим и должен заниматься, Господи,
разве не так?
Ты же обещал, вспомни,
ты же сам об этом говорил.

Но Господь занят с утра
куда более важными делами –
стоит на перекрёстке,
регулирует дорожное движение,
помогает уличным собакам
пересекать улицу.

Четвёртый час дня.
Ни одна из собак не попала
под колёса.
Топчут снег весёлыми лапами.
Господь утомлён.
Но доволен.

* * *

В тёплую харьковскую зиму
синие вечерние склоны напоминают скалы
на православных иконах.
Слава тебе, самаритянство деревьев на тихих дворах,
почёт вашим хребтам, деревья,
выдерживающим литографию снега.

Вечная память беззащитным мытарям нежности.
Выпасть листком подорожника
из страниц ночного подъезда.
Сектанты, которые ставили страсть выше правил,
ставили прикосновения выше, чем стихи псалмов.

Время состоит из дыхания.
Оно обречено на равное количество
полученного нами и нами отпущенного.

Память состоит из отчаяния.
Отчаяния и радости.
Из радости.
В первую очередь.
Прежде всего.

* * *

Я знаю, как всем вам сейчас тяжело.
Каким безутешным кажется изумрудный космос зимы.
Как беззащитно вы себя чувствуете, как одиноко.
Главное – как вам мешают те,
кто берётся лечить ваши души.

Ах, этот печальный, печальный мир
взрослых одиноких людей.
Ничего не удаётся поправить,
ничему не удаётся помочь.
Никого не удаётся вытянуть из петли,
привести в чувство.
Разве что – можно об этом всё написать,
можно сделать из этого литературу.

Поэтому, прежде чем я начну
отрицать твоё существование, Господи.
Прежде чем подожгу серным скепсисом твои небеса.
Прежде чем решительно откажусь
от припасённых тобою даров.
Позволь мне поблагодарить тебя за словари рифм.

Благодарю тебя за то, что в этом мире
решительных и принципиальных,
тех, кто загоняет себя в капкан, специально для того,

чтобы потом грызть себе заднюю лапу
и яростно выть от обиды,
в этом мире тех, кому всегда есть что сказать,
кто никогда не промолчит,
хотя бы что-нибудь можно зарифмовать,
чтобы потом все претензии были именно к рифме.

* * *

А тем временем
подходит к концу очередная история.
И длинней становятся тени на мартовских холмах,
и света становится всё больше,
и появляется иллюзия,
что в этот раз всё будет иначе,
что геометрия солнечной пыли
и алхимия дыхания
сделают своё дело,
и этот год запомнится ранней травой,
и дожди будут неожиданными,
словно стихи,
написанные
влюблёнными в своих женщин поэтами.

Вот только ничего не даётся даром,
придёт время за всё держать ответ,
рассчитываться за всё
с теми мытарями, что собирают
чёрную дань нашего одиночества.

Мы оставляем после себя
сухие стебли роз – стебли страсти
на гостиничных балконах,
мы оставляем после себя глубокие царапины
на бронзовой коже.

А тем временем крутятся
жернова справедливости,
работают господни мельницы,
пересыпают солнечную пыль
над мартовским городом.

Поднимите руку те,
кто готов был продать душу
за счастливую любовь,
но так и не договорился с посредником;
поднимите руку те, кто никогда бы
на это не отважился;
и поднимите руку все остальные –
те, кого просто не устроили условия контракта.

Тем временем
движется солнце,
не останавливается время,
лепятся наши сердца,
словно ласточкины гнёзда,
под карнизами любви.
Долго, долго работать господним мельницам.
Долго, долго работать господним мельницам.
Долго, долго им работать...

* * *

Пока из этого всего не написались стихи,
и это прекрасное утреннее солнце не зажали
орфографическими словарями,
пока и мы относимся к жизни,
словно к музыке, подслушанной
из тёплого золотого окна,
к музыке, которую слушает с утра
темноволосая женщина,
проверяя почту,
пока и мы с вами, да – и даже мы с вами
причастны к этому действию,

к тайному переходу солнца над высокими липами
от восточных окраин
в обход коварного воздушного потока,
который разносит голоса радиоведущих,
словно простуду,

пока и мы привержены радиоволнам,
словно религиозным убеждениям,
пока и мы верим потерянной кем-то ноте
и знаем только одно:

не стоит переключать волны,
которые тебя держат,
не стоит,
не стоит забывать мотивы,
которые делают тебя сильным,
не стоит,
не стоит, наконец, отречься
от собственного голоса.

У нас только и радости в этом мире –
пение преданных оперных теноров
с ранеными сердцами,
словно с гнилыми апельсинами.
У нас только и обязанностей –
делиться главным:
нашим голосом,
нашей чуткостью.

Поэтому пусть будет ещё одна весна.
Пусть нам станет неловко за наш оптимизм.
Пусть камышовые стебли,
словно антенны,
выхватывают из воздуха самое важное –
ритм и прощение,
пусть растут,
пусть ловят
симфоническую музыку
марта.

* * *

Между тем, что мы успели утратить
и тем, во что продолжаем верить,
проходит линия осеннего птичьего трафика –
прочерченный ногтем след
на офсете неба.

Время распадается на траектории
лисьих следов, ведущих от железной дороги,
на хребтовое вытягивание стеблей молочая
вдоль речного берега.

Время надламывается, как ветка.
Нельзя ничего исправить, нельзя восстановить
отлаженное движение жизни
по направлению к смерти.
С нас начался самый серьёзный из текстов,
поэзия ножевых,
силлабика библиотек, в которых поселился мрак.

Время замирает, словно лиса на охоте –
ничего нельзя предотвратить
в этой яростной погоне,
не стоит надеяться, что нас пощадит
закалённое лезвие времени.

Вот только вложить в этот промежуток
между вспышкой и затемнением,
между тем, чего не вернёшь, и тем,
от чего ещё не отказались,
вот только выдохнуть –

я тебя так люблю в этом осеннем трепете,
среди чернозёма, похожего
на типографскую краску,
которой печатают школьные учебники,
я так люблю это время, угасающее перед зимой,
выстуживая карманы наших бушлатов,

напоминает ритм
вселенной, лишь в сентябре, когда ты
не можешь уже
ничего изменить.

Лишь осенью так цепляешься за тепло, лишь осенью
перебираешь его, как перебирают одежду,
в которой хотят
быть погребёнными, лишь осенью делятся теплом,
словно водой
ночью – слишком искренне, слишком доверчиво.

Между тем не нужно бояться искренности,
совсем не нужно.
Не стыдитесь своей искренности, друзья деревьев.
Хотя бы этой осенью не нужно прятать синяки,
оставленные под горлом нежными зубами.

Между тем снова сентябрь, и вода в колодцах
реагирует на изменения погоды, как зверь в норе.
Я обязательно вернусь к тебе,
я обязательно это сделаю.
Лишь несколько недель на то, чтобы обниматься
среди камней.

* * *

Но
так мало вещей,
достойных того, чтобы повторять их названия:
деревья вдоль берега, камни в снегу.

Эти тёплые дымы, за которыми скрывается
чьё-то утреннее одиночество,
эти автобусные остановки,
как проявление терпения и благодарности.

Холмы лежат,
словно люди в плацкартах –
устало и тихо:
год выдался долгим,
всем есть о чём сожалеть,
но есть и за что быть благодарными.

Время идёт,
поезда отправляются,
молчаливые пассажиры лежат над холодной землёй,
вспоминают о самом важном,
думают о главном.

Но так мало главного,
так немного и важного:

номера вагонов,
перевозящих по стране обычное тепло,
имена птиц,
словно имена женщин,
которые постоянно где-нибудь над тобою.

* * *

Никто не хочет ходить
по лесной дороге
под высокими деревьями.

Летом хотя бы солнце опалает стволы,
и расстояние кажется не таким бесконечным.
А вот монохром зимы лишает иллюзий,
делает вещи самими собой, обнажает их,
раскрывает их, как часовые механизмы.

Зимние деревья, как нерифмованные стихи –
никакой ритмики, никакого благозвучия.
Жизнь такая, какая есть,
не стоит подгонять её под чередование
согласных.

Благословенны будьте, деревья смешанных лесов,
похожие на подростков этой страны:
ваша готовность продираться из мокрого суглинка,
ваша способность поддержать железным плечом тех,
кто не может удержаться на ветру,
ваше вращение в дождевое сердце страны.

Вам стоять вдоль дорог,
по которым никто не возвращается,
вам держать камни, не давая им осыпаться,
вам соединять грунтовые воды
с воздушными потоками.

Ранняя зима, ещё не заметённая грунтовая дорога,
почти нетронутые прочерки снега,
почти нехоженная субботняя изморозь.
Дорога, на которой редко кого увидишь.
Хотя кто-то проходил,
кто-то был здесь сегодня.

Тучи медленно
плывут на восток.
Тянутся, тянутся
болезненные следы
женских каблуков
от железнодорожной станции
к военному кладбищу.

* * *

...А теперь вместо этого зима –
щедрая пора посвящений,
пора перехода на другое письмо,
пора прохожих, которым ты отвечаешь
с осторожной беззаботностью,
как говорят с детьми в больничных палатах.

В эту долгую-предолгую зиму
в городах, где снегопады валятся на голову
шумно, словно племянники
на годовщину смерти кого-нибудь из родных,

во времена, когда ничего не стоит
наше личное недоверие к миру,
станем вместе музицировать,
станем петь,
прошивая утро нитью голоса –

спасибо вам, строительные зимы,
за ваше декабрьское просветительство,
за принесённые вами знания
про убийственный жар поцелуев на ветру,
спасибо вам, птицы субботних деревьев –
ваше крикливое одиночество, как предостережение
всем легкомысленным,
кто забывает о клятвах,
данных во время пробуждений
в безголосых гостиницах.

Дорога через поле,
мимо моста и больницы,
в сторону металлического сундука-вокзала.

Мужчины
расчищают дорогу,
убирают снег,
перекладывают его с места на место,
словно перелагают святое письмо
с греческого
на наш.

* * *

Вы готовы?

Души лесных птиц сталкиваются в воздухе.
Время вслушиваться в ночь,
касаться невидимых крыльев.

Вы готовы сойти на полуночной платформе
и подхватить эту давнюю мелодию?
Грифель в детских руках проводит линию дыхания,
линию, за которую не заступит огонь.
Быть вместе, держаться света,
держаться вместе посреди крыльев,
которые на что-то в этом воздухе опирались,
что-то выхватывали из него, пружинили,
прорезали свет в картонных коробках весны.

Вы готовы
читать вслух так страстно,
словно целуетесь с собственным выдохом,
словно признаётесь в любви кислороду
своей страны?

Вы готовы говорить так,
словно именно от ваших слов
зависит будущее цивилизации?
Готовы говорить о вечере так,
как говорят о смерти в операционной?

Балансировать на грани угольной радости,
выходить за очерченный круг на больничном
дворе. Вы готовы?
Хвататься за крыло, выхваченное из простыней
рассвета. Вы готовы?
Вкладывать пальцы в раны мороженных говяжьих туш,
чувствовать сердцебиение города на вечерних
перекрёстках.

Пение, которым заливают гипсовые формы голоса.
Пение, наполняющее почтовые ящики лёгких
корреспонденцией ветра.
Пение, ломающее хлеб речи,
питающее утро ржаным привкусом гимна.

Все, кто оказался достаточно сильным,
чтобы противостоять темноте,
все, кто стал под знамёна пения в полуночную пору –
так мы выдыхаем нашу свободу,
табачным дымом в прозрачное крепление утра,
так проступают лики воспалений
на витражах лёгких.
Так мы воспеваем павших в золотом песке предвечерья.
Звучание – и более ничего.
Радость и продолжительный вечер, как голос,
как дыхание,
сбитое пением и поцелуями.

* * *

Словно и не было этой зимы,
не было наших ожиданий и страхов,
нашего вслушивания
в репродукторы декабря,
нашего замирания
перед оркестровой правдой снегопадов.

Словно это не мы готовились
к твёрдости льда,
рождённого из нелюбви.

Но едва проступает в воздухе
влажная пропись оттепели,
мир взрывается, словно толпа,
которой показывают
отрубленную голову тирана.

Вечным будет огонь над долинами.
Вечным будет наше удивление перед
открытым сердцем реки.

Первыми всегда просыпаются
собиратели книг на вещевых рынках
и раскладывают свои богатства вдоль
городской кладки.

И уже озираются на ветру
поэты в мокрых, словно подушки,
старых антологиях,
выброшенные из школьной программы,
но не выброшенные из жизни,
реагируют на смех,
на прощальный хруст
снега под ботинком,
поправляют галстуки,
отогреваются под
обложками.

Поэты, которым никто не верит,
поэты из истории литературы.

Преданные адвокатами,
брошенные жёнами,
висельники, утопленники, самоубийцы:
рассказывают свои биографии,
прививают нам любовь
к жизни.

* * *

Почему я постоянно говорю о церкви?
Большое искушение – быть понятным.
Большая наивность – потребность взрослых людей
держаться вместе, чтобы никто не догадался
об их одиночестве.

Хватает услышанного в детстве, чтобы понять,
с чем ежедневно приходится иметь дело:

вот красители метафор,
способные претворить воду
в кровавое столовое вино;

вот сердце Христово – открытое, словно
концертный рояль, который снова сыграл
что-то академическое в пустом зале;

вот я – оставленный кем-то среди общины,
поставленный кем-то перед необходимостью
воспринимать историю смерти и жервенности,
как семейную историю,

повторяю за старшими проклятия,
переложённые в хоровое пение,
пою вместе со всеми,
люто верую.

Люто верую в зелень, которая каждый год
перекрикивает кирпичную кладку,
как перекрикивает
профессоров возмущённая аудитория.
Люто верую в луну, что растёт, как гнев
возле левого лёгкого майского неба.
Люто верую в литературу,
которой обогревают печи
в детских домах.

Глубже всего протоптаны тропы
на кладбище и к воде.
В землю хоронят лишь самое дорогое –
смазанное оружие, вызревающее спелым гневом,
фарфоровые сердца родителей, что отзовутся
пением школьного хора.

Об этом и расскажу –
о духовых инструментах тревоги,
о свадебной процессии, входящей в память,
словно в Иерусалим.

Заложить под сердце
ломаный псаломный ритм дождя.
Мужчины, танцующие так, будто гасят
ботинками степной пожар.
Женщины, которые так держатся за мужчин в танце,
будто не пускают их на войну.

Восточная Украина, конец второго тысячелетия.
Мир переполнен музыкой и огнём.
В темноте перекликаются летучие рыбы
и певчие животные.

За это время умерли почти все, кто тогда женился.
За это время у большинства одногодков
умерли родители.
За это время умерло большинство героев.
Разворачивается небо – горькое, как повести Гоголя.
Звучит пение людей, собирающих урожай.
Звучит музыка тех, кто выносит с поля камни.
Звучит, не обрывается.

Пока мир творится,
виснут над деревьями, словно грехи над душой,
виснут над деревьями, поднимаются над ними.
Всякий раз отдаляются от самого важного.
Приближаются к главному.

* * *

Сходиться и говорить – начнём с самого трудного.
Начнём это неистовство вживания в ночь,
проступающую углём на простынях.

Река, словно сброшенное через голову платье,
ещё помнит тепло,
ещё отзывается на сердцебиение
ближе к утру, когда возникает
сбитая позтика усталости.

Вот мы – выкричанные в эту ночь,
выгоревшие на солнце, словно керамика.
С языком, похожим на птичий клёкот.
С голосами, как у животных, что перекликаются,
наблюдая, как со всех сторон подступает пожар.

Сходятся люди задышливого приграничья.
Сходятся мясники, чьи пальцы стягивает
кровь, будто канцелярские чернила.
Сходятся вечные погонщики, принося за собой
пасхальный дух бойни.

Книги, пахнущие травой и молоком.
Иконы, напечатанные в типографии
вместе с манифестами футуристов.

Звери нюхают сладкий язык рассвета.
Учат правописание июньских туманов,
среди которых прячутся их убийцы.

Начнём путь по зелёной пустоши,
сумеречному отечеству,
начнём гон жертвенного зверя сквозь
хоровой распев пшеницы.
Начнём все, кто видел,
как прячутся в поле вальдшнепы душ,
кто заходил в воду,
чтобы загаром пронять её
ледяную тревожность.

Начнём с самого трудного – с пения и тушения огня,
подступающего сквозь ночь.

Начнём с шептания имён,
выплетем вместе эту лексику смерти.

Стоять и говорить о ночи.
Стоять и прислушиваться в тумане
к голосам пастухов,
отпевающих каждую
потерянную душу.

* * *

Так становятся для семейного фото,
смотрят в глаза фотографа,
будто в глаза птицы,
сидящей за окном:

запомни меня, гневный глаз птичий,
до поры, когда увидимся вновь
на другой стороне пронзительной, словно крик,
жизни,
на другой стороне тревожного, как течение,
одиночества.

Запомни руки мои,
ещё без отравленных чернил под ногтями,

запомни мой голос,
ещё без гвоздей ярости мужской,
запомни благодарность детей,
что на Пасху берут сладости с надгробий
своих родителей.

Через сорок лет я уже не буду говорить во сне
с мёртвыми героями прочитанных романов.
Не будет этой магнетической луны
над открытым переломом трассы.
Через сорок лет никто не поддержит меня,
когда буду прыгать в майские озёра.
Будут закрыты будки киномехаников,
разграблены гробницы школьных книгохранилищ.

Запомни меня, история, похожая на птицу,
вынужденную каждый год вонзаться
в туман приграничья.

Отпечатки светлых лиц на моих ладонях.
Женщины и мужчины 70-х,
словно мёртвые планеты,
освещают летний воздух.

Дети говорят во сне с мёртвыми капитанами.
Дети выходят из тьмы на голос фотографа.
Перебегают сквозь детство,
как ящерицы перебегают июльскую трассу.
Становятся на дворе,
недоверчиво смотрят в глаза истории.

Поют мёртвые поэты,
попавшие в школьную программу,
словно грачи в клетку.
Воспевают родину
выжженного за лето неба.

Тяжело темнеет хирургический шов
переписанного начисто стиха.
Медленно растёт между рек чёрный цветок дождя.

* * *

И уже потом ни слова.
Только запоздалое воспоминание,
уверенность в том, что на самом деле всё помнишь,
что память – сложна, как птичье крыло,
и не всё в ней видится с самого начала.

Дыхание, которому предшествует отсутствие воздуха.
Вдох, за которым непременно следует выдох.

Распускается в темноте
цветок лёгкого.

Мальчик рождается в мире,
где так много зверей и деревьев.
Рождается, чтобы двигаться за потоком,
от рождения до смерти,
за старшими мужчинами.

За теми, кто учит перебирать посеребрённые
инеем стебли речи, за теми, кто учит целовать
в плечо подорожники чужих имён,
за теми, кто проводит по бесснежной дороге голоса –

память звучит,
словно горн, переходящий из рук в руки,
память составлена из голосов,
как корабль из сосен.
До тех пор, пока ты различаешь их, разрезает воду
навигационная основа прошлого.

Мальчик касается красочных птиц
на чёрных вдовьих платьях,
касается мёртвых петушиных гребней,
горящих на рассвете, словно цветы.

Яркие глубокие надрезы в гортанях у животных.
Роскошь звуков и нагромождение красок
в простуженных детских кошмарах.

Дети в животах у женщин,
словно в звонницах колокола –
обязательно ударят в нужное время.

Мир оглушён голосами и красками.
В небе растёт новая луна.
Высаживаются новые деревья,
словно внедряется
новое правописание.

* * *

Время затворять ворота и окна.
Год завершается, горит пересушенное небо.
Горит огонь над рекой, будит храбрые души.

Время вспоминать и рассказывать,
время поднимать со снега усталых от долгой ходьбы.

Пронизанные историей, словно холодным дождём,
пропитанные влажным дымом отхода, мы делим
остатки хлебов. Время благодарить
и двигаться дальше.

Говорить «спасибо» жёлтым холмам, с которых
не сходит солнечный свет.
Говорить «спасибо» птицам, оставшимся
зимовать под навесом.
Благодарить тех, кто поддерживает двери,
когда выносят умерших.
Благодарить тех, кто приходит к больным
в опустевшем доме.

СОДЕРЖАНИЕ

после того как половодье спало...	3
история начинается...	3
Тяжёлым каменным углем в лесных корнях...	4
Гамбургские шлюхи	5
Океаны	6
Оптовики	8
Пушеры	9
Клерки	10
Собиратели конопли	11
Иерусалим	13
И вот я снова пишу о ней...	15
Эта лисица...	16
Лучшее, что было в эту зиму...	17
Летом она ходит по комнатам...	18
Если бы я был почтальоном...	19
Что делать со священниками?..	21
Город, в котором она спряталась...	23
Святой Франциск построил этот город...	24
Какие грехи у тебя, женщина?..	26
Женщины, живущие за рекой...	27
Беременность	28
Виолончелист	30
Кто стоит на причалах и рейдах...	31
Табачные фабрики	33
Как пишутся стихи?..	34
Тут между ними начинается ссора...	35
Ну вот – теперь не говорят...	36
И после двух лет молчания...	36
Каждое утро...	38
Долго стоят на железнодорожной платформе...	38
А вот ещё один стих...	39
С утра на остановке почти никого...	40
Горячий летний воздух...	41
Начинается лето...	42
За две тысячи лет человечество...	43
Ясно, что футбол должен быть вне политики...	44
ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ	
Игла	45
Поисковик	46
Секта	47

Чеченка	48
Псих	50
Мародёр	51
Плейер	52
Капеллан	53
Шпион	54
Носорог	56
Из цикла «ТРИ ГОДА МЫ ГОВОРИМ О ВОЙНЕ»	
Знакомый ушёл добровольцем...	57
Вот такая у них теперь семья...	58
Два года, пока его не было...	59
Солнце, терраса, много зелени...	61
По улице проходит женщина...	62
Тоже странная история...	63
На деревенской улице...	64
Зато я знаю теперь, – говорит он...	65
Сентябрь 14-го	66
И кто должен сказать им, что всё закончилось...	67
И целая вечность впереди...	68
Так и добыть до этих холодов...	69
Глубокий мир деревьев и радости...	70
Пишу, как обещал...	71
В тёплую харьковскую зиму...	72
Я знаю, как всем вам сейчас тяжело...	73
А тем временем подходит к концу..	74
Пока из этого всего не написались стихи...	75
Между тем, что мы успели утратить...	77
И только попав сюда, на улицы...	78
Но так мало вещей...	79
Никто не хочет ходить...	80
А теперь вместо этого зима...	81
Вы готовы?..	83
Словно и не было этой зимы...	84
Почему я постоянно говорю о церкви?..	86
Вот об этом и расскажу...	87
И вот именно то...	89
Сходиться и говорить – начнём...	90
Так становятся для семейного фото...	91
И уже потом ни слова...	93
Время затворять ворота и окна...	94

Жадан Сергей

К76 Табачные фабрики / перевод с украинского Станислав Бельский. –

Днепр: Герда, 2020. – 98 с.

ISBN 978-617-7639-31-1

В сборник стихотворений современного украинского поэта и прозаика Сергея Жадана вошли переводы на русский язык верлибров из книг «Цитатник», «У.С.С.Р.», «Огнестрельные и ножевые», «Месопотамия», «Жизнь Марии», «Антенна», а также верлибров, опубликованных в интернете.

УДК 82-1

Літературно-художнє видання

ЖАДАН Сергій Вікторович

ТЮТЮНОВІ ФАБРИКИ

Переклад з української: Станіслав Бельський

(російською мовою)

Макет та верстка Misheal_D

Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура PartnerCondensed
Друк цифровий. Ум. друк. арк. 4,6. Тираж 200 прим. Замовлення № 31/20

Видавництво «Герда» 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 60
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №397 від 03.04.2001 р.
book-shop.in.ua

ISBN 978-617-7639-31-1